

...П

Почему она ни разу не приходила ко мне во сне? Почему не хотела сниться? Ведь она знала, что с ее уходом из моей жизни ушло многое. Чей номер я могу теперь набрать, если шла-шла, жила-жила и вдруг попала в тупик, из которого, кажется, нет выхода?

У нее было редкое, нет, редчайшее качество: принять на себя чужую боль, пережить ее вместе с тобой, вникнуть во все ее нюансы и перипетии, а потом ненавязчиво, тихим, задумчивым голосом сказать несколько слов, несколько таких неожиданных слов, что ты с изумлением начинала понимать: а ведь выход из тупика есть! Просто ты не предполагала, что он может быть именно здесь, в таком месте! Откуда знала это она?! Как могла догадаться? Бог весть!

И вот теперь я должна искать-находить эти выходы сама. Не привыкла. Не умею...

Может, она потому и ушла, чтобы научить, вынудить меня делать самостоятельные шаги? Глупости... Конечно же, причины были другими. И не мне судить-разбираться в них. Мне остается только испытывать горькое чувство оставленности. Осиротелости.

Как мы любили с мужем ездить к ним в гости! К ней и ее супругу. Нас всегда ждал накрытый стол, и она, только что чистившая картошку и нарезавшая салаты («да сиди ты, я сама все сделаю»), находила минутку, чтобы переодеться: из будничного халата — в красивую праздничную блузу. «Все, идите за стол!»

За столом она ненавязчиво, но от души потчевала: «Попробуй вот это... и вот это... Вкусно?..»

Все и всегда у нее было вкусно! Такими же «вкусными» были и наши застольные беседы, когда говоришь обо всем, о чем душа пожелает, и знаешь, что все это действительно от души, всерьез, а где надо, где кстати — то и с юмором; где маленькая рюмочка, которую наполняет хозяин дома, это радостное чувство единства и родственности (пусть и не по крови, но не по крови бывает иногда даже крепче) только объединяет нас еще больше.

Неужели это больше никогда, никогда не повторится?

И вдруг...

Все было как всегда: накрытый стол, душевная беседа, только за столом на этот раз сидели еще два гостя: ее сестра с мужем. Сестра разливала по чашкам чай и предлагала насыпать туда по шепотке каких-то семян. Что это были за семена? Зачем их бросать в чай?

И тут в комнату вошла Светлана Борисовна. Как всегда при гостях и почти всегда в жизни вообще — веселая, оживленная. Она набирает эти семена в горсть и всем сыпет в чашки: «Вот увидите, как хорошо будет». Ну, если это говорит сама Светлана Борисовна...

— Она действительно знает, как лучше, — объясняю я сомневающимся. И добавляю: — Светлана Борисовна знает даже, как надо жить, чтобы всем было хорошо.

Она и впрямь это знала. Вот как: надо бросаться на помощь всякому, кто тебя об этом попросит. Нет, она не декларировала это правило, просто я видела, что каждый раз именно так она и поступает.

И вдруг я ВСПОМИНАЮ... И начинаю понимать, что все, что происходит сейчас — это всего лишь сон... Не хочу — сна! Хочу яви! И я приклоняюсь к ее плечу — оно живое, теплое, мягкое, и говорю-плачу:

— Неужели то, что произошло — правда?

— А ты вспомни...

И я вспоминаю:

Без рассужденья, все равно,  
Я выпью горькое вино...  
И в черно-белом домино  
Заглянет ночь в мое окно,  
Поднимет черную вуаль  
В другую весь, другую даль,  
Где мне однажды суждено  
Узнать знакомое окно  
И взглядом встретить долгий взгляд...

— А ты говоришь: хорошо. Хорошо больше не будет. Кончилось все хорошее, — эти слова привычно неторопливо и непривычно горестно произносит ее супруг.

...И опять пошла жизнь без нее. Но однажды...

Однажды мы с мужем были в ссоре. Причем на этот раз такой, что думалось: все, хватит друг друга мучить, пора разбежаться.

И вот тут ночью, во сне, опять пришла она. Причем на этот раз я ее даже не видела. Я только чувствовала, что она — рядом. От нее идет теп-

ло, и еще что-то, названия чему я не знаю. И вот лежу я в этой странной ауре и чувствую, что со мной что-то происходит... Что? Тоже не знаю.

Но утром я просыпаюсь, отдохнувшая, словно после тяжелой и долгой дороги. Смотрю на мужа и вдруг говорю ему: «С нынешнего дня мы будем жить с тобой по-другому. Ты целуешь меня утром, а я тебя — вечером. Перед сном». И на душе — никакой такой вчерашней неприязни к нему. Даже наоборот.

Стало понятно: это — она... это ее работа. А ведь я ее в этом сне даже не видела...

Вот одно из последних стихотворений Светланы Борисовны:

Ты меня не увидишь седой,  
Я расстанусь с тобой молодой.  
Я покину тебя незначай,  
Не в обиду, не в гнев, не в печаль.  
А уйду я не в стужу, не в зной,  
Я уйду, знаю, ранней весной.  
Будет стылая, стылая ночь...  
В первый раз не смогу я помочь...

Она угадала — ушла от нас весенней порой. Так бывает с поэтами. У них свои отношения с вечностью.

Но вот что касается «не смогу я помочь»...

Как хорошо, что не угадала!

## ЛЮБОВЬ НА ДРУГОМ КОНТИНЕНТЕ

Ночью на пляж выходили кошки. Они были худые, с короткой, словно подстриженной, шерстью. Кошки не подходили к людям и не терлись об их ноги; нагулявшись, они устраивались отдыхать на песке. Независимые, величественные, как сфинксы, они лежали, вытянувшись всем телом, а не свернувшись привычным для ее глаз клубочком.

Все, все на этом клочке морского побережья было по-другому. Что кошки — небо, и то было другое: тонкое, плоское, как туго натянутое полотно, хорошо хоть синего цвета. Морская же вода была неправдоподобно красивой — ее словно подкрасили, но не синькой, а бирюзой. И почему в таком случае море называлось Красным?..

А утром на берег выходили люди. Как и положено отдыхающим, они ели, пили, купались. Она тоже заходила в бирюзовую воду — медленно, чтобы продлить удовольствие от соприкосновения со стихией, и потом плыла, плыла, отдавая этой стихии усталость и боль и призывая ее поделиться с ней свободой и силой...

А соседка по лежакам (а еще раньше — по креслам в самолете, а потом и по проживанию в номере) все время спала. Мертво. Изредка, выныривая из сна, она извинялась:

— Устала. Так устала... Если захраплю — ширни в бок.

Только чего бы она ширяла. Пусть отдыхает. Лера пока не спросила, от чего именно эта усталость, ну, так у нее и своих переживаний хватает.

...Когда-то, в далекой юности, ей казалось: все женщины делятся на три категории. Женщины-мальчики — короткая стрижка, узкие бедра, и вся фигурка — тоже узкая, без всяких выпуклостей и прибабасов. Еще бывают женщины-девочки — челка до глаз, круглые голубые глаза и ресницы — хлоп, хлоп. Женщин-теток с пышными телесами и химической завивкой на голове она просто не замечала, хотя их было явное большинство.

Себя же она считала... женщиной-бабочкой. Или маленькой птичкой колибри. Потому что вдобавок к маленькому росту, челке и голубым глазам у нее были еще и крылышки. Их, конечно, никто не замечал, но она-то чувствовала.

Вот и он — ничего не видел. Ходил и ходил мимо, равнодушно скользя по ней глазами. Но однажды, когда они, как обычно, пришли с Ленкой на танцы в Дом культуры, он вдруг споткнулся о ее взгляд, словно это была какая-то материальная субстанция, и удивленно сказал:

— Слушай, такие круглые глаза бывают только у бабочек. Ты — бабочка?

— А то! — обрадовавшись его догадке, радостно отозвалась она. И доверчиво добавила:

— У меня и крылышки есть.

Он провел рукой по ее спине:

— Хватит сочинять. На бабочку ты, конечно, похожа, но чтобы крылышки... Пошли лучше танцевать.

И они пошли. Так отчаянно она не танцевала еще никогда. Вечер шел, а она не только не уставала, но, кажется, становилась все более и более легкой. Может, даже невесомой.

— А ты и правда — летаешь. Не знаю, как там насчет крылышек, а энергетика у тебя потрясающая. Мне нравится. Пошли, погуляем?

И они опять пошли. Разве могла она сказать нет, если ждала этого... так долго ждала!

Вышли к реке. Он взял ее на руки и понес. И она опять летела...

— Летела-летела, да... залетела.

Ленка всегда так. Молчит-молчит, а потом — в самую точку.

— Что будем делать?

Лера с радостью отметила это «будем» вместо равнодушного «будешь». Ленка — хорошая подруга. Да, подруга... Но ей-то теперь был нужен муж. Защитник, опора. Отец будущего ребенка.

— Хочешь, я с ним поговорю?

— Нет, я сама.

И он понял все с полуслова.

— Ну, если так... Завтра пойдем к моим, послезавтра — с заявлением в загс.

И все складывалось хорошо. Свадьба. Рождение дочки. Дочка в первый класс... дочка в институт... дочка вышла замуж и ушла жить к мужу...

Они остались одни, и многодетная Ленка сказала: «Вдвоем... как хорошо-то! Как в молодые годы!»

А потом вдруг ее звонок:

— Видела его сегодня с бабенцией — две таких, как ты, в одной. Или даже три. Его что — на мясо потянуло?

В первый раз она даже внимания не обратила на эти Ленкины слова. Подумала только: завидуете. Даже такие, как Ленка, не свободны от зависти. Завидуете, потому что такой любви, как у нас с Игорем, в вашей жизни никогда не было! Вы не можете без ссор, а мы легко без них обходимся. У нас мир и лад, а вы то сходитесь, то расходитесь...

Но потом Ленка позвонила еще. И еще... И тогда она пошла к проходной завода и спряталась за киоском. И увидела все сама.

— С-с-слушай... Ты меня того... изредка буди все же. А то так и просплю все десять дней.

Соседка протерла глаза, села на лежанке, потом уставилась в море долгим, ленивым взглядом.

— Дрыхни, раз хочется. Отдыхай. Наверное, есть от чего.

— Есть, подруга, есть. Всю зиму от мужа не отходила. Поддай это, отнеси то. Сделай укол. Подложи утку...

— Он что — так сильно болен?

— Сильнее некуда.

Соседка потрясла головой, словно хотела стряхнуть с себя что-то неприятное, мешающее и смотреть, и дышать.

— Понятно. Но если уж мы приехали отдыхать — пошли в море. Пошли?

Плавали они долго, почти не разговаривая и не испытывая от этого неловкости. Хорошо!..

Вечером, за ужином, взяли по стакану виски с колой. Было неловко, но ведь — «все включено». Вон — народ не стесняется. Почему бы и им не расслабиться?

— Оль, ну давай... По глоточку. Да и познакомиться надо поближе. А то только и знаем: я — Лера, а ты Оля. Родом-то откуда будешь?

— Я-то? Из тюрьмы.

— ???

— Да не таращись ты так. Все просто. Папу должны были посадить за растрату, а мама уже сильно беременная была. Папа говорит: возьми все на себя, тебя с таким животом быстро отпустят.

Соседка отпила из стакана еще глоток.

— Не отпустили. И я там не только родилась, но и ножками пошла. А когда вернулись домой... мама сама пошла вразнос. То один хахаль, то другой... Любила и растила меня бабушка.

Лера забыла про еду. Теперь ей напомнила соседка:

— Мы с тобой отдыхать приехали? Вот и давай отдыхать.

Таких прилежных отдыхающих отель еще не видел. Они записывались на все экскурсии, участвовали во всех затеях, предлагаемых массовиком-затейником. Только к пирамидам ехать не решились: почти сотня километров по раскаленной пустыне — нет, это уже не для них, пусть и на автобусе, пусть и с кондиционером. В конце концов, пирамиды тысячи лет простояли без них и столько же простоят еще. А им хорошо и так. Вот и опять — ужин, опять — виски с колой...

— Хорошо!.. Слушай, Оль, оказывается, жизнь может быть приятной. А вы... сколько лет вы с мужем прожили вместе?

— Ты лучше спроси, сколько лет вместе мы не живем.

— Ну и...

— Да уж с десяток, считай.

— А почему ж ты за ним... принеси, унеси...

— А кто ее знает. Дура...

Дура... И она оказалась — дурой...

...Сначала она не поверила своим глазам. Потом — ушам, когда вечером он бормотал что-то типа: «Понимаешь, внеочередной заказ получили. Все остаются после работы, а я уйду? Да и деньги лишними не бывают...»

Но когда она заставила свои глаза увидеть реальность, а уши — услышать не то, что он говорит, а что пытается скрыть, спросила:

— Вы что — выполняете этот заказ где-то на стороне, а не на родном заводе? И исключительно с помощью белокурых пухленьких помощниц?

Наверное, он уже был готов к подобному разговору. Потому что совсем не испуганно ответил:

— Ну, что ты выдумываешь ерунду.

Она ухватила за эту «ерунду», как за соломинку. Подошла, попросила, заглядывая в глаза:

— Обними, как раньше. Подари мне немного твоей энергии.

— Я устал! — в его голосе звучало легкое раздражение. — Откуда я возьму эту энергию?

— Тогда просто — обними. Все остальное я додумаю сама.

Нехотя, словно чужую, он прижал ее к себе — на несколько коротеньких секунд. В эти секунды и подумалось с полной безнадежностью: она — жена? У нее есть муж? Да она теперь одна, как в пустыне. Настолько одна, что хоть волком вой. То бишь волчицей...

Вот тогда-то Ленка и достала ей эту путевку: отдохни, подруга. Постарайся прийти в себя...

— Лер, а ты? Ты от чего улетела?

— Я-то?

Она добросовестно, с той же откровенностью, собралась ответить, но вдруг... поплыла. Потому что... потому что — ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ!

Откуда они возникли? Как? Да просто за столик напротив сели мужчина и женщина. Она что-то сосредоточенно писала на листочке бумаги, а он, вольготно раскинувшись в кресле, обводил глазами зал. И вдруг остановился... на ней. Она натолкнулась на этот взгляд, как на материальную субстанцию. Он был из какого-то другого мира; она еще не знала, из какого, но так захотелось ему поверить! Этот взгляд говорил: тебе плохо? Со мной будет хорошо. И спокойно. Тебе не придется ждать и выпрашивать ни любви, ни ласки — я осыплю ими тебя, я подарю их тебе с радостью и охотой...

Хорошо и спокойно... Так было когда-то. И так может быть снова?! Но ведь это и есть счастье...

А может, она просто перепила виски с колой? Сделала лишний глоток...

Ольга смотрела на нее и, казалось, не замечала никакой в ней перемены. Сказала буднично:

— Завтра экскурсия на море. Говорят, часть путешествия будет проходить под водой. Запишемся?

Вот — это то, что надо. Ей надо как раз туда — на морское дно. Поглубже. Подальше от этих глаз.

...Там оказалось страшновато, на морском дне. Затонувшие деревья, камни, коряги. Мимо — совсем рядом — проплывают рыбки, независимые и равнодушные к людям, которые ухитрились оказаться так близко к ним.

А что, если случится что-то страшное, и они не смогут подняться на поверхность?

А что, если правда, что смерть — это только начало новой жизни? Конец и начало... если бы обладатель ТЕХ глаз был рядом — не было бы страшно совсем. Потому что — вместе...

Что с ней случилось? Причем — независимо от ее воли. Она совсем не хотела, чтобы ей в голову пришли такие вот мысли.

Но если они все-таки пришли... За что же тогда она обиделась на мужа? Он не виноват. И она не виновата...

— Слушай, а теперь предлагают экскурсию на Райский остров.

— Даже так? Получается — рай возможен на земле?

— Вот и увидим. Своими глазами.

...Сначала плыли на катере. Было полное впечатление, что они уже не на земле. Или в первый день ее сотворения. Бесконечная бирюза моря. Чистейший ласковый воздух. Холмы на далеком берегу, напоминающие туши гигантских, улегшихся отдыхать, животных. И такое высокое небо! И опять — эти глаза. И рядом почему-то нет его женщины...

С катера их пересадили на лодку, и на берег они сходили уже с нее. Молодые слетали на песочек легко, как бабочки. А она... ее-то крылышки уже были сломаны. Лодку качало, страшно было оступиться в воду. И тут к ней протянулась с берега крепкая мужская рука. Она схватилась за нее (раздумывать было некогда — за ней очередь) и не заметила, как тоже перемахнула на белый, ласковый песок. Вот и в раю...

— Спасибо. Вы очень мне помогли.

— Рад был это сделать.

Отдыхающие купались, делали селфи (так, кажется, теперь говорят вместо «фотографировались»), удивлялись прозрачности воды и чистоте песка (а разве могло быть по-другому на Райском-то острове?), любовались на странные, крытые пальмовыми листьями жилища аборигенов («для экзотики держат; только бизнес — ничего личного»)...

— Может быть, познакомимся?

У нее хватило выдержки не выдать счастливого блеска в глазах. И даже сказать:

— Если та женщина — ваша жена, то вряд ли стоит.

Он промолчал. Да и зачем было говорить, если и так хорошо! Даже лучше — ничего не говорить и ничего не знать, а просто смотреть и впитывать в себя воздух, небо, свободу...

На обратном пути отдыхающих кормили, поили, развлекали. Руководитель поездки — шоколадный молодой человек — был ангельски красив и опасно откровенен в шутках и прибаутках. А впрочем... не на собрании же — на отдыхе...

Незнакомый знакомый не делал больше попыток к сближению, но смотрел так, что самой хотелось побежать через палубу и прижаться к его сильному, загорелому плечу...

А вечером следующего дня отдыхающим предложили ужин на берегу моря. С наступлением темноты. Чтобы было совсем-совсем романтично. Они с Ольгой, конечно же, не преминули записаться.

И опять была райская красота вокруг (маленькие, словно подсушенные жарким воздухом звездочки теплятся на черном небе, море вздыхает таинственно и тихо), на столе — вкусная еда и вино, на сцене один артист сменяет другого. К восточным мелодиям они уже успели привыкнуть, язык танцев тем более понятен без перевода, но вот этот юный араб вытворяет что-то совсем невероятное: кружится вокруг своей оси минуту, две, три... десять... Как это можно? Откуда в нем столько энергии? Почему у него не кружится голова?

У нее вот вот кружится. Хотя они с Ольгой удобно сидят на стульях, потягивая легкое вино.

— Лер, я и с собой привезла бутылочку. А мы ее еще так и не открыли. Давай сегодня?

— Давай. И повод есть: наше пребывание в райских куцах подходит к концу.

— Вон и твой воздыхатель пришел. И все только смотрит и смотрит... Боится от бабы оторваться. Может, тебе самой надо быть посмелее?

— Может быть.

И тут объявили белый танец. Она почувствовала, что где-то в районе лопаток что-то зашевелилось — там, где когда-то были крылышки. И тогда она встала и пошла к нему. Да, рядом с ним — женщина. Ну и пусть! Она — тоже женщина! И она тоже хочет быть рядом!

Голова кружилась, кружилась... Она закрыла глаза и позволила обнять себя чуть крепче, чем это предполагал медленный танец. А когда открыла...

Его женщина смотрела на них понимающе и печально. Она все знала про нее и тем более про него.

И тогда она вдруг остановилась. И сказала:

— Идите к ней. Насовсем идите.

Ольга уже стояла у выхода и ждала ее.

Бутылочка открыта. Маленькие дорожные стаканчики наполнены, стоят в ожидании. Да только куда им торопиться — в отпуске-то?

— Ну, и чего ты от него убежала? Жены испугалась?

— Вспомнила себя в такой же ситуации.

— Давай рассказывай.

— За два дня до отъезда это было. Пришел домой смурной и жалкий, как побитая собака. Спрашиваю: ты чего такой? Хотя ответ уже знала: верная моя подружка рассказала, что новенькая чертежница написала заявление по собственному желанию. Причина — собралась уезжать в Москву. Сейчас все едут в Москву за хорошей жизнью.

И вот смотрела я на него и не понимала: это — тот самый мужчина, который всегда был таким сильным и уверенным в себе? Даже улыбка — и та у него была победительная. Куда же все подевалось? Ох, как захотелось закричать, грохнуть об пол тарелку! Остановила скорбная складка в его губах. А главное, почувствовала, что сейчас, в эту вот минуту, я сильнее него. А раз сильнее — значит, просто обязана помочь.

— Ну, и...

— Спрашиваю: а ты сам-то хочешь поехать с ней? Ответ: боюсь, этого не хочет она. И опять эта скорбная складка... И тогда я говорю: а давай об этом спрошу ее я! Набирай номер. Он, как зомби, послушно (послушно!) выполнил мое приказание. И вот ее ласковый голосок в трубке: да-да, я вас слушаю. Представляюсь по всей форме: жена, сами знаете кого. Все про ваши отношения знаю и совсем не против, если в Москву вы поедете вместе. Вдвоем. В трубке — молчание. Интересуюсь:

— Вы меня слышите?

В ответ:

— Слышу. И вот что я вам скажу: пусть ваш муж остается с вами.

И тут выдержка оставила меня. Как закричу:

— Вот только не надо меня жалеть!

А мне — спокойненько так:



— А я вас и не жалею. Я просто хочу уехать одна.

И — отбой...

— Ну, а он? Он-то что?

— Подошел к окну. Долго-долго стоял там, глядел в темноту. Потом говорит: пойду спать. Мне надо хорошенько выспаться.

— Слушай, Лер, давай-ка все-таки по рюмахе. За то, чтобы твой супруг хорошенько отоспался. И проснулся здоровенький.

— Слушай, Оль... А у тебя... сейчас-то кто ухаживает за твоим бывшим?

— Наша дочь. Сначала не соглашалась, но я упросила. Твой-то хоть трезвенький, работяга, а мой и гулял, и пил. Дочь до сих пор простить не может.

— А ты? Приедешь — и опять на вахту? Почему, Оль?

— А я знаю? Чую, что должна — и все... Знаешь, он когда-то пел хорошо. Так пел! Тогда в моду входили ВИА, ребята одного из них к нему приглядывались, говорили, что, скорее всего, возьмут к себе. Ну, у него голова и закружилась. Сегодня с одними обмывает радужные перспективы, завтра с другими. Так и понеслось... А тем-то не собутыльник нужен был, а певец...

Помолчали, думая каждая о своем.

— Да он без меня просто подохнет, — спустя время, печально вздохнула собеседница. — Подохнет, потому что никому теперь больше не нужен. Вот и вся причина.

— А я раньше я считала, что только любовь...

— Любовь, любовь, — нетерпеливо, с досадой перебила ее Ольга. — Затаскали словечко. Да у нас, русских баб, все и всегда было больше, чем любовь. Как по телевизору. По каналу «Культура».

Какое-то время они опять сидели молча. А когда глазами встретились, в них было недоумение: чего разнюнились-то? Мы что — не отдохнуть приехали на этот далекий континент? Ударим весельем по тоске и печали!

Первой, пробуя голос, начала хохотать Ольга. Лера, после недолгого раздумья, присоединилась к ней. И когда уже разошлись, смеялись долго, взахлеб. Пока не устали. А когда так же внезапно остановились, Ольга деловито сказала:

— Как говорила моя незабвенная мамаша — тут без пол-литра не обойтись. Бутылку мы с тобой не осилим, а вот по рюмашке...

## НА ОТШИБЕ

Махал Махалыч — звали его в селе. Без юмору, без смешинки народу скучно, особенно в нынешнее сумеречное время. Колхоз давно прихлопнули, какого-то управляющего вместо председателя привезли. Да ладно бы мужика — бабу. Утром она приезжает из райцентра на машине, вечером таким же макаром уезжает. Это как — чтобы председатель, ну пусть и управляющий по-теперешнему, жил не в селе, вместе с народом, которым руководить приставлен, а где-то на стороне? Это все равно, как не мать, а мачеха в доме. Чужая.

Ну да где ему разобраться во всех этих новых порядках. Тут с собой — и то не все ясно. Хоть то же имя взять: в детстве был Мишкой, в женихах — Михаилом. А как зажил семейной жизнью, да попер на колхозной работе в передовиках — так и в Михаила Михайловича произвели.

А потом всему — крах. Колхозу, привычной жизни. Да и семейной

тоже. Вырощие дети развехались, жену схоронил. Сейчас ему даже говорить с сельчанами — и то не больно охота. Он и взял манеру: спросят о чем — поглядит недоуменно да и махнет рукой. Ну, и как тут было народу не воспользоваться моментом, Махал Махалычем не наречь? Сказать честно, он и не обижается на это то ли имя, то ли прозвище: пускай тешатся, от него не убудет. Хотя где-то глубоко внутри себя... Народ ведь какой: за глаза — Махал Махалыч, а как в водонапорной башне поломка, как пересохнет в колонке вода — так и идут во двор к нему, к его колодцу, и тут уж если не полной регалией, так хотя бы Михалычем назовут.

Колодец Михалыч соорудил по двум причинам. Первая — живет на отшибе, на самом краю села, и когда строили водопровод, при советском еще времени, то ли труб не хватило, то ли еще чего, но до его дома линию не довели.

А второе — не больно ему водопроводная вода и нравится. Потому как железом отдает. Ржавчиной. Вот он и почистил заброшенный, вырытый в огороде еще дедом, колодец, подновил сруб, крышу над ним поставил. Еще и красочкой синенькой прошелся по ней — пусть веселее глядится. Цепку крепкую в райцентре купил. Ну, и стал пользоваться своей персональной водой, еще и односельчан время от времени выручает.

Но вот однажды зашла в его двор женщина совсем незнакомая. И мало того, что незнакомая, еще и всем видом не своя, не деревенская. Местные бабенки больше в байковых халатах ходят, а эта в цветастом сарафане; местные повязывают платок узлом под подбородком, а у этой платок — чудное дело — жгутом перекручен, и концы его отведены назад. Получается, голова как венком опоясана. Кто такая?

Вышел Михалыч по такому случаю на крыльцо.

— Здравствуйте. Говорят, у вас колодец есть. Можно, я водички наберу? — спросила незнакомка.

Тут уж не отмахнешься, пришлось отвечать:

— Чего же нельзя. Для того и сделано.

Тем же вечером пришел за водой Василий, давний Михалычев дружок, с которым они вместе когда-то и пахали, и сеяли. Присели на крыльцо, закурили.

— Ты подумай, Михалыч, совсем народу работы не стало. На посевную своих людей из района привезла. Управляющая-то. Убирать, говорит, они же будут. Объясняет: у них техника такая, что вы в ней не сообразите.

Михалыч, по привычке, молчал. А Василий шел дальше:

— И чем теперь местному народу заниматься? Только и остается — самогон гнать.

В ответ опять — молчок. Дружок осерчал:

— Ты совсем немтырем становишься. Женился бы, что ли. Вон и невеста в селе объявилась.

— Кто такая? — отверз, наконец, уста Михалыч.

— А-а, интересно все же... Бабенка вполне справная, стала на квартиру в пустой Дунькин дом. Говорят, картины рисует. Ненашенское, конечно, занятие, и потому непонятно, чего она в нашем селе забыла. Ну да у всякого свои причины. Так что заказывай, Михалыч, картину.

Михалыч, опять свое прозвище оправдывая, только рукой махнул: зачем ему?

А перед сном, поужинав хлебом с кружкой молока, вдруг задумался: а чего бы ему и вправду не завести в доме картину? Стена-то над диваном

все равно пустая. Над кроватью — тут всегда ковер висел. Пока жива была матушка, это была картина с крутошеими лебедями, плавающими в пруду, и девицами вдоль по берегу — пышноволосями, глазастыми, с красными, что тебе яблоки, щеками — тоже, видно, какой-то художник нарисовал. Они с женой завели уже настоящий ковер, фабричного производства, с цветными узорами да разводами. Он и сейчас висит, и никакого другого, пожалуй, больше не предвидится. А вот над диваном...

И когда женщина в перевитой косынке пришла за водой в другой раз, он решил не отмахиваться, а поговорить с ней по-человечески. Для начала спросил имя-отчество. Она несмело представилась:

— Милана... Можно без отчества.

Он удивился про себя: Милана? Это еще что за имя? Маланьи в их краях — да, водились, но ведь это когда было-то. Сейчас имена другие пошли. А Милана... это почти что милая. Это же выговорить невозможно! И зачем выдумывать такие трудные имена?!

В общем, обошелся без имени. И когда эта... Милана... шла уже назад, от колодца, остановил ее вопросом:

— Вы, говорят, картины рисуете? Я бы, пожалуй, приобрел одну.

— А вы приходите ко мне. Посмотрите, может, какая и понравится.

И на другой день они пошли к ней вместе. Ведро с водой нес он, Михалыч. Ну, а как же? Не пойдешь же рядом с нагруженной женщиной порожняком.

Дунькин дом — известное дело — не дум, а домишко. Хозяйка давно умерла, и никто не подправлял разошедшиеся полы, не подновлял обсыпавшуюся штукатурку. И все в доме было как при хозяйке — по старинке: стол, лавки вокруг стола, кровать у стены. А вот картины, на полу вдоль стены расставленные — это внове. Стал разглядывать. Девчонка сидит на лавке, голыми ногами болтает — ну, это он и без картины каждый день может увидеть. Мальчонка белоголовый... В их селе, после того, как сюда повалили откуда-то из своих краев армяне, больше черноголовые да черноглазенькие бегают. Он, Михалыч, с советских времен привык все национальности равными считать и против армян ничего не имеет: раз там, на родине, стало вам плохо, живите у нас, земли на всех хватит. А все-таки обидно, что светленьких-то голов среди играющей на улице пацанвы почти не стало. И имена... Ашотик, Гарик, Левон — кличут по вечерам женщины, созывая ребятишек домой. И не слышно знакомого: Иван, Вовка, Петька... да тот же Мишка, в конце концов...

Однако он пришел сюда не за тем, чтобы об именах размышлять. Он пришел за картиной. И вот, кажется, та, которую он унесет домой. Совсем простенькая картинка — букет цветов. И все они такие знакомые-разнакомые: ромашки да васильки, да желтая кашка, да ржаные колоски среди них. Лето красное минет, а они у него над диваном так и будут цвести — глаз радовать, душу греть.

— Вот эту возьму. Говорите цену.

— Да вы можете и не платить ничего. А лучше наделали бы мне рамочек. Рамочек мне не хватает.

С тех пор так и повелось: то она к нему за водой, то он к ней с рамочками. Народ, конечно, все это наблюдал, делал прогнозы. Озвучил их тот же Василий:

— А что, Михалыч, не пора ли тебе в сам-деле... У вас ведь уже кооператив образовался: она рисует, ты рамочки мастерить. Вы бы ладком, мирком — да за свадебку...

Михалыч не стал отмахиваться, ответил словами:

— Людей на старости лет смешить?

А сам тем же утром, когда она пришла за водой, вдруг взял да сказал:

— И чего мы ходим туда-сюда? Оставайся у меня насовсем.

Ее, кажется, не обидело, что он без согласования с ней на «ты» перешел. Дружелюбно, даже с улыбкой, ответила:

— Хорошо, Михаил.

У него по сердцу как ангел пробежал: Михаилом назвала. Именем, от которого он почти отвык.

Старенький чемоданишко — все, что она принесла вечером. «О-о-о» — пропела уважительно, оглядев его дом и сравнив с Дунькиными «хоромами».

Свадьба — какая уж там свадьба. Но стол они, уже вместе, собрали, друг напротив дружки сели. Михалыч наполнил рюмочки взятой по такому случаю беленькой. Без лишних, ненужных слов, чокнулись. Выпили. Потянулись вилками к салату.

Михалычу и от одной рюмки хорошо стало. А она — заметил он — была не прочь еще выпить, только сказать не решалась. Так он и не стал ждать никаких слов, взял да налил по-новой. После второй вдруг и разговорился: стал рассказывать про то, что жили они с женой ладно, и детей вырастили вроде неплохих — все в городе теперь живут, работают, детей, то есть внуков его, растят, да уж больно редко навещают. Скучно им в сельской, как они говорят, глуши, а ему скучно одному. Но вот теперь, когда они будут вместе...

Милана сама вдруг потянулась к бутылке, налила и ему, и себе, вот только ждать его на этот раз не стала — опрокинула рюмашку первая, а, выпив, посмотрела на него туманно и даже как бы с легкой усмешечкой.

— Ладно жили, говоришь? Это хорошо. Это просто замечательно. А вот у меня ладно никогда не было. Никогда! Даже в детстве. Отец пил, мать пила. Школу кое-как кончила — что дальше? Учительница по рисованию говорит: у тебя талант, развивать надо, а... на какие шиши? Родителям не до меня... В общем, ушла я из дома.

Михалыч слушал, сочувствуя гостье всей душой.

— Ну и — как же ты дальше?

— А как многие такие же... Общага... официантка в кафешке... по вечерам картинки малюю... кавалеров меняю, как перчатки...

Милана опять потянулась к бутылке, опять выпила, не дожидаясь его, и понесла совсем уж непотребное:

— Думаешь, обрадовал меня, осчастливил? Да я, если бы захотела, могла бы и в городе... не хуже, а лучше, чем в вашей дыре... у вас тут теперь даже молока не купишь — крестьяне называются...

Он слушал ее, дивясь и не веря, что человек может так быстро переменитьсь: вот только тихой да кроткой была, вот только имя свое — Милана — оправдывала, и вдруг — на тебе...

Когда ее речи стали совсем уж дерзкими и путанными, он, сам того от себя не ожидая, стукнул кулаком по столу:

— А ну, марш на диван! Под свою картину...

Милана (да какая там «милая» — глаза бы не глядели!) упала на диван кулем и всю-то ноченьку ворочалась, бормотала чего-то, вздыхала со стоном, будто кто ее душил, — ну да, с ней все понятно, а он-то чего в по-

толок глядят? Глядят и костерит сам себя последними словами: красоты захотел, дурак? Ну, ешь теперь полной ложкой. Да запивай еще. Пример перед глазами...

Ругал Василия: ладно он, Михалыч, с краю села живет, а тот-то в самой середке — неужто за ней ничего не замечали? Чего ж не сказал, не упредил? Нет — «женился бы в сам-деле...»

А сам что — маленький? — обрушивался опять на себя. — Свою жену сызмальства знал, потому без ошибки и вышло. А тут... загорелось ему... одному, вишь, скучно... зато теперь больно весело стало...

Потом в его измученную горькими мыслями головушку пришла такая: да что — она одна, что ли, вот так-то? Как все перевернулось в стране, как пошла эта дурная перестройка, как пооставались люди без работы — многие стали находить утешение в бутылке. Где-то ведь ее отец работал до этого. И мать. Что не спросил?..

Да что спрашивать — у них в селе, что ли, не так? Василий правильно сказал: люди бесхозные остались, государству ненужные. А приезжающая управляющая — она сама человек подневольный. Что велят, то и делает. Велят работников из района везти — она и везет. А что местных оставили без работы...

Без работы человек дичает. Даже личным хозяйством — и то не хочет заниматься. Она, Миланка-то, верно сказала: только называемся крестьянами. Это же надо: солока в деревне теперь не найти! А если и купишь — то только у тех же армян. Они-то сразу поняли, что на чужой земле их никто кормить не будет, понастроили хлевов да сараев, завели скотину. Раньше, при колхозах, как весна — один колхозный трактор пашет все личные усады сразу — они так и шли за домами, один за другим, образуя одно поле. Людо-дорого было потом посмотреть, как хозяева торят межи, восстанавливая границы своего усада, как дружно, всем семейством, сажают картошку — основную крестьянскую еду. А теперь... Теперь на тех усадах, на той земельке, что кормила их, стоят армянские скотьи постройки, а где их нет — земля зарастает ивняком и чертополохом.

Милана с утра глядела искоса, обидчиво, но когда он позвал ее пить чай, сникла вдруг, опять стала тихой.

— Вот теперь ты знаешь, какая я.

Не дождавшись в ответ ни звука, сказала еще:

— Пойду, наверно, в свой домок.

И опять он промолчал.

Так, молча, и допил чай, вышел на улицу. Сошел с крылечка, поднял голову к небу. Ах, хороший занимался денек! Такой уж светлый, такой благостный... И чего ей, заразе, надо?.. В хороший дом пришла. Мужик не пьет, не бьет. Становись к плите, свари щей, а потом рисуй, сколько твоей душеньке угодно.

Душенька-то вот только... больная. И признайся себе, Михалыч: залечить ее раны тебе не под силу. Тут какое-то особое снадобье требуется, а ты его рецепта не знаешь...

Оглянулся — а она уже стоит на крыльце со своим драным чемоданешкой. Стоит и стоит. И чего медлит? Вышла — так иди, не дли муку.

— Михаил... можно, я напоследок водички из твоего колодца попить?

Как и в тот, в первый раз, он сказал:

— Чего же нельзя. Для того и сделано.

Пошли в огород. Звякая цепкой, Михалыч опустил и вынул ведро. Она зачерпнула кружкой.

— Хорошая у тебя вода, Михаил.

И вот это «Михаил», сказанное дважды, так резануло по сердцу, что он вдруг разозлился и пошел на грубость:

— Хорошая, говоришь? Ты могла бы каждый день ее пить. Вместо белой-то отравы.

И отвернулся.

А когда обернулся, увидел, что она уходит прочь. И опять его резануло чувство, которому он и названья не знал. Боль? Жалость? Одиночество? Все вместе... Стало трудно дышать.

Сделав над собой усилие, он все же набрал в грудь воздуха и выдохнул в два приема:

— Ми... лана...

Она замедлила шаг.

— Не уходи... Ты мне вернула... имя. Кто еще и когда назовет меня Михаилом?

## НАДЕЯ

Старуха готовилась помирать.

Узелок у нее был припасен давно. В узелке — платье, чулки, тапки. Платье — трикотажное, дочь привезла в подарок еще на восьмидесятилетие, и Пелагея тогда сказала ей: «Если уж и буду носить, то не здесь». — «Где же?» — недогадливо спросила дочь. Она в ответ только усмехнулась. А про себя подумала: трикотажное — это хорошо. Зимой в нем не так холодно, а летом не упреешь. И опять усмехнулась, теперь уж на саму себя: да если ТАМ-то — разве не все равно?..

Чулки же были куплены давно, еще в те времена, когда их полно было в магазинах. Она и взяла — сразу двое: одни носить, другие для узелка. Теперь носят колготки, но ей-то они зачем нужны? В привычном способе будет лежать.

А тапки... Одни уже износились; вот так же приехала дочь: ой, мам, комнатную обувь забыла, а у вас чистота... Ну, она их и вынула: старушечьи, мол, конечно, но откуда ж у нее быть другим. Потом донашивала эти тапки сама, а на замену купила уж повеселее, в цветочек — мало ли что...

Старуха, конечно, догадывалась, что узелок в ее приготовлениях — не самое главное. А что главное — кто ей ответит на этот вопрос? С таким вопросом к батюшке надо идти, да где его взять, батюшку, если церковь в селе порушили, когда ее еще и на свете не было?

Словом, остается рассчитывать на собственный ум, а он уж подводить стал. Память — никуда. Зайдет на кухню, и встанет в недоумении — зачем шла? Сноха уже не раз говорила: пора тебе генеральский пост сдавать, в рядовые переходить. Злыдня... верховодить хочет... Ну нет, пока она еще на своих ногах ходит, пока она и оладушки в силах испечь, и щи, если надо, сварганить. Так что не спеша в генералы, Надея...

Надея — это придумал сынок. «Надежда» ему неинтересно показалось. Еще выдумал, что лучше нее, Надеи, на свете никого и нет. Молодой был, чего еще соображал...

Молодой был, молодой и остался. Вон они на стене, два портрета:

муж, Фаддей Никитич, и он, Алешенька — волосенки русые вьются, в губах улыбка заплуталась. Старый воевал в Отечественную, молодой — не понять в какую. Теперь-то ее называют афганской, а когда забирали — никто ничего не знал. Полный был секрет...

Старый со своей Великой войны вернулся, а молодого — с не понять какой — в цинковом гробу привезли. Она, мать, убивалась, а Надея... Нет, плакала, конечно, лила слезоньки, только как-то быстро, по ее, Пелагеиным, понятиям, утешилась. «Нынче концерт, мама, пойду схожу»... А то и без концерта уметелит к какой-нибудь из подружек. Она ее вразумляла, конечно, но слишком ли скоро свободу почувяла? Не рано ли в полет пошла? «В какой полет, мама — к Веруне вязать пойду».

Слава Богу, работать ее научила. А то ведь когда в дом пришла — не умела ни корову доить, ни огурцов-помидоров посадить. Сынок заступался: «Она же в городе жила, мама...» Вот и пусть бы жила, неужто своих, деревенских, девок мало? — вскипало у нее внутри. Пускай бы так и стояла на своем базаре, торговала обувкой, жевала батон с пакетным молоком.

Да, за обувкой он тогда и поехал... а привез вон кого. Околдовала она его, что ли? Чтобы вот так, сразу... Сказал — любовь с первого взгляда. «Из какой она семьи-то?» — допытывалась Пелагея. Оказалось — у девки ни отца, ни матери, — в детдоме выросла. После детдома получила койку в общежитии. Всего приданого у невесты оказалось — сумка в клетку, но слишком сильно барахлишком набитая. «Все у нас будет, Надея, вот увидишь...»

А — и будет! Если она, Пелагея, даст маху, дом на нее запишет. Ну да пока она в своем уме, понимает, что дом родной дочери должен достаться.

...Вон с огорода пришла — руки у крана моет. Уже не молодка, фигурой уже оплыла, и волосы как известкой сбрызнуло. Городская дочь старше нее, а выглядит куда моложе...

— Мама, к телефону подойдете?

— Ай звонит кто?

— Звонит.

Дочь, легка на помине.

— Приехать собираетесь? Завтра? Вот и хорошо. Ставь пироги, Надея. Тем боле что завтра праздник.

— Какой, мама?

— Троица. Надо бы знать. Чем только твоя головушка забита.

Тут и пришла ей в голову мысль: приедут-то на машине. Вот она и попросит свозить ее в райцентр. Там церковь есть, и батюшка, сказываю, такой хороший...

В церкви была благодать: пол травкой устелен, березонька как в лесу стоит. А уж как сладко поют певчие...

К исповеди она пошла первой: ну-ка, есть ли тут кто старше ее? А батюшка оказался совсем молодой, с редкой бородачкой, волосы в косичку заплетены. Можно ли такому верить? Ну да коли приехала...

— Батюшка, мне уж недолго осталось... и узелок приготовила... А душа непокойна: что я еще-то должна сделать?

— Это хорошо, что душа беспокоится.

Поглядел на нее жалеючи. И сказал так:

— Вы долго жили. Всякое, наверно, за такую жизнь было. И вас обижали, и вам, наверно, обижать приходилось. Приходилось ведь?

— Да нет вроде.

— А вас обижали?

— Да еще сколько! Если начну рассказывать — до вечера не управлюсь.

Батюшка помолчал. Потом сказал твердо:

— Вот это и надо: всех своих обидчиков простить. И самой — тут уж вы сами знаете у кого — прощения попросить.

И вернулась она домой в полном смятении...

Надея уже накрыла на стол. Что-что, а встретить гостей она умела: вон и салаты всякие на столе, и картошка дымится, и курочка своя, не покупная синяя...

Зять разлил по рюмкам привезенное вино. Она пригубила со всеми, стала расспрашивать про внуков. Даша на море укатила — от учебы отдохнуть, Виталик, молодой папаша, в командировке — с правнучкой сегодня жена занимается. Хотели и они поехать, да что-то девчонка засопливила...

Пелагея слушала, а из головы не выходило: «всех своих обидчиков простить»... Да как же можно простить человека, коли он виноват? Это какая-то несправедливость получается. Ту же Надею взять... Одно время стала замечать Пелагея, что сноха ведет себя как-то по-странному. То на концерт открыто собиралась, докладывалась — вернусь тогда-то, а тут... глаза прячет, щеки маковым цветом горят... Пошла она к Настасье Перепелихе, та всегда все про всех знает. Настасья ей как на духу: с Генкой Макеевым у нее шуры-муры. Генка ее к себе жить зовет.

Она не помнит, как и до дому добралась. Легла на постель прямо в одежде — не было сил раздеться. Какое там раздеться — вздохнуть не было сил, так ее придавило обидой. Взяли в дом, считай, голой, ничем ни разу не попрекнули (по крайней мере — вслух), ест-пьет с их стола... а она, как тот волк: сколько его ни корми — все в лес смотрит... И это она должна простить?!

Не сдержалась она в тот вечер, дождалась Надею с поля (тогда свеклу еще руками убирали) да и выдала ей по первое число. И та — хоть бы слово возразила (а чего тут возражать, коль виновата?), хоть бы слезинку пролила (знала, что не разжалобит ее!), молчала как пень, как камень. Но, видно, все-таки проняла она ее, усовестила, коль та же Настасья спустя время сказала: «Как бабка пошептала». — «Не пошептала... выражалась громко. И прямо в глаза».

Ишь, сидит, как не виноватая. Как равная им всем сидит...

— Мам, надо ехать. Аленка внучку рано приводит, чтобы на работу не опоздать.

— Ну, надо так надо...

Это уж ночью, когда сон про нее забыл, когда все глазыньки в потолок проглядела, пришла ей в голову мысль: внуки — хорошо, правнучка — замечательно... А она, мать? Она-то пока живая. А она, родная-то дочка, скинула ее на руки снохе. Лишний раз не позвонит, не приедет. А если она сляжет? Охота ей из чужих рук стакан воды принимать?

Тут же припомнились Настасьины слова:

— Да чего ты ее гнобишь, сношеньку? Алешу уж не вернешь, а она молодая. Да и ребятишек жалко. Будто не знаешь, что у Генки двое малых после смерти жены осталось.

— А я с кем останусь?



— Да у тебя вроде дочь есть.

Да. Вроде есть. А вроде и нету...

Вот, батюшка, до чего ты довел: вместо того, чтобы успокоить, утешить старуху, разбередил всю душу. Сама себя наизнанку выворачиваю. Придет-ся уж, видно, припомнить и тот разговор, который она старательно забывала, а он забываться не хотел. Так же вот приехали прошлый год дочь с зятем, и тоже лето стояло; отобедав Надеиными разносолами, зять ушел подремать под яблоню, а дочка с Надеей уселись в холодке на крылечке. Она хотела выйти, посидеть с ними, да остановилась за занавеской (занавеска, как и во всех сельских домах, висела в проеме открытой двери, чтобы свежий воздух в дом шел, а мухи не залетали). Остановил ее разговор.

— Надь, меня совесть мучит. Я — дочь, а живешь тут, заботишься о маме ты.

— Ну, что же делать, если у вас жилье в городе и вся жизнь в городе?

— Надо маму к себе взять.

— Это на ваши-то городские метры? Да и не поедет она от родных стен.

Помолчали. Потом дочка:

— Хочешь, я с ней поговорю? Про Гену.

Не сразу Надея ответила:

— Теперь уж чего... Теперь уж поздно. У него уж и детишки большие.

А я...

Надея опять замолчала. Пелагея дышать забыла — ждала, чего еще та скажет. Только одно слово еще и добавилось:

— А я... старая.

Всего одно словечко, а резануло — будто серпом...

## КЛЕОПАТРА ПЕТРОВНА, ЦАРИЦА КЛИЗМЫ

Когда от Гали ушел муж, она решила не впадать в тоску и панику. С ним, что ли, не тосковала, когда приходил домой пьяный в стельку и тут же заваливался спать? А паника ее, можно сказать, и не покидала: сохраняла душевное равновесие при такой жизни. Пришел пьяный — это еще хорошо, а бывает, пропадет на два-три дня, и она ходит, мучается — где он, что с ним...

На этот раз Жорик ушел, кажется, насовсем. Две недели — срок серьезный, а тут еще соседки подтвердили: видели его на другом конце города с женщиной. Одной и той же. Несколько раз...

Тут Галя и решила: хватит страданий! Надо начинать жить сначала. И по-другому.

Перво-наперво она, пенсионерка, решила устроиться на работу. Чтобы осуществить все задуманное до конца, ей требовались некоторые средства. Выручила соседка Лилечка, старшая медсестра больницы: «Санитаркой пойдешь?» — «Санитаркой?» — задумчиво переспросила Галя. «Ну не врачом же!» — чуть-чуть даже обиделась Лилечка. И Галя тут же бодро спросила, когда ей выходить на службу.

— Да хоть сегодня, — горестно вздохнула Лилечка. — Младшего медперсонала не хватает. Так же, как и среднего, между прочим.

— Нет, приду завтра, — огорчила ее Галя.

И, более не медля, отправилась в парикмахерскую. А здесь, опустившись в кресло, заявила:

— Стригите меня под Мирей Матье!

Парикмахерша, не ожидавшая от немолодой клиентки подобных запросов, опешила:

— Под Мирей Матье? Там изюминка, между прочим, в воздушности прически. У вас хотя бы фен есть?

— У меня есть бигуди, и они меня никогда не подводили, — веско произнесла Галя, поставив тем самым парикмахершу на место. И та взялась за дело...

Обновив прическу, Галя отправилась в магазин, в отдел бижутерии, и высмотрела там самые яркие, самые крупные серьги. Продавщица, как и парикмахерша, тоже начала было высказываться по поводу возраста («оно вам надо — до плеч будут висеть»...), но Галя и ее решительно пресекала:

— Что — только вам, молодым, хочется быть красивыми?

И любовно посмотрела на выбранные сережки: в середине — крупная капля вишневого цвета, вокруг нее стекляшки (да понимает она, что стекляшки!) поменьше, но ведь сверкают-то, как алмазы!

Завершить перемены во внешности она решила в парфюмерном отделе, и здесь ее немного качнуло: одобренные продавщицей духи стоили столько же, сколько стрижка, покраска волос и серьги вместе, и даже еще дороже, но покупательница нашла выход:

— А «Белая сирень» у вас есть? Были раньше такие хорошие духи.

— Хорошие? — усмехнулась продавщица. Но духи подала. И Галя тут же попросила выбить чек.

Когда на другой день она появилась в хирургическом отделении больницы, заведующий был несказанно удивлен: старшая медсестра говорила, что на работу выйдет скромная немолодая женщина, а тут...

— Клеопатра! — выдохнула, едва сдерживая смех, но и удивление тоже, случившаяся рядом молоденькая медсестра с красивым именем Нелля.

Клеопатры заведующего не интересовали; ему нужна была аккуратная, чистоплотная женщина, которая убирала бы палаты и коридоры отделения с тем же старанием, что и собственную квартиру. Но вскоре он должен был признать, что именно так новенькая санитарочка и убиралась. И большие серьги при этом ей совсем не мешали. Мало того, когда она появлялась в палатах при полном своем параде, больные невольно подтягивались, старались и сами пригладить смятые за ночь волосы, одергивали халаты, торопливо прибирались на тумбочках...

Со временем и медперсонал, и больные заметили у Гали-Клеопатры еще одно достоинство: никто не умел так хорошо ставить клизмы, как она. Особая морока была с мужиками: пока стоят в коридоре, дожидаясь своей очереди — смелы и насмешливы, а зайдут в Галин кабинет (так она сама его называла) — и впадают в столбняк и непреодолимую робость. Другие нянечки от этого начинали сердиться, иногда и грубить мужику, а Галя споконько, как малому дитяти, говорила:

— Ложитесь на левый бочок.

Тронутый такой заботой и лаской, мужичок покорно ложился. А Галя, не мешкая, тем же медовым голосом предлагала:

— А теперь только и остается — спустить штанишки.

Ну, и как тут было не выполнить просьбы — при таком-то обращении?

Самое же главное — довольны были хирурги: после Галиных проце-

дур в живых пацентов было чисто, будто они наводили там эту чистоту с помощью какого-нибудь фортранса. Словом, вскоре Галя стала считаться в клизменном деле лучшим специалистом, и сам заведующий, случалось, направлял к ней больного с просьбой подготовить к операции — срочно.

...Галя однажды не выдержала, подошла к пересмешнице Нелле и спросила: кто же она такая, эта Клеопатра.

— Да царица такая была, — на этот раз вполне серьезно разъяснила ей сестричка. — Причем — красавица из красавиц.

— А где же она правила?

— Да в Египте.

— То-то я думаю — зовут не по-нашему.

— Она была царица Египетская, а вы... — тут уж Нелля не выдержала, опять перешла на смешки, — а вы у нас царица клизмы!

Смех смехом, но к Галиному имени с той поры стали прибавлять отчество Петровна, а кто и прямо навеличивал ее Клеопатрой Петровной. Вроде с юмором, но скрывали за ним кто что: кто — уважение, а кто и зависть — ишь какая, все у нее не как у людей. Что серьги, что эти... клизмы.

Точку во всем этом разнообразии мнений поставила Лилечка:

— Все бы так работали — мы бы давно при коммунизме жили! Без всяких там перестроек.

Месяца через два-три встретила Галя в «Пятерочке» с неверным мужем. Жорик оторопело смотрел на нее, забыв о покупках. Потом решил сверить свои впечатления, причем не с кем-нибудь, а с самой Галей:

— Галь, это ты?

— А то, — подтвердила покинутая супруга.

Ответ Жорику показался неполным. Он спросил опять:

— А где же ты — такая — была раньше?

Галя-Клеопатра не замедлила с ответом:

— С тобой, дураком, теряла лучшие годы жизни.

И пошла себе дальше, оставив Жорика в тяжелых раздумьях...

И вот когда она прочно — так казалось ей — утвердилась в новой жизни, эта самая жизнь преподнесла ей новое испытание.

...Утром — Галя еще толком и не проснулась — раздался звонок в дверь. Она машинально набросила на себя халат, машинально открыла дверь. На лестничной площадке стояла блондинистая девица современных субтильных форм, а перед нею — глазастенькая девочка лет пяти-шести. Девица сказала странное:

— Сил моих больше нет. Теперь потетешкайтесь с девчонкой вы.

Галя по-прежнему молчала, не понимая: почему она должна тетешкаться с чужим ребенком? Блондинка не спешила что-нибудь разъяснить. Вытащив из сумки полиэтиленовый пакет, протянула его Гале:

— Это ее документы.

И только сейчас, глянув на остолбенело молчавшую хозяйку квартиры, добавила:

— Не сомневайтесь — это ваша внучка. Папаша ее, ваш сынок, совсем об этом забыл. А я вам забыть не дам. Гуд бай...

И исчезла. Как сон, как утренний туман, — всплыла в опшарашенной Галиной голове где-то слышанная фраза...

Перед тем, как взяться за швабру, Галя зашла в Лилечкин кабинет и по-соседски, чистосердечно все ей рассказала. Когда старшая медсестра была чем-то недовольна, а то и возмущена, она произносила известную всему среднему и тем более младшему медперсоналу отделения фразу: «Еще раз повторяю для непонятливых».

— Еще раз повторяю для непонятливых, — услышала Галина Петровна. — Ты, Галь, конечно, Клеопатра и царица клизмы, но теперь-то тебе предлагают быть еще и мамашей. Вспомни, сколько тебе лет! Ты потянешь?

— Не знаю, — честно сказала Галя.

— А я знаю! Нынче твоей глазастенькой шесть, а придет время — будет шестнадцать. Да что шестнадцать! Уже через год она начнет требовать у тебя айфон! Потому что они есть у всех ее ровесниц! А еще джинсы и кроссовки с иностранными этикетками — я через это уже прошла. Ты потянешь?

И опять честно Галя сказала:

— Не знаю.

— Так зачем же ты оставила девочку у себя? Почему не отвела в милицию или, как там она теперь называется... Есть и другие органы, которые должны заниматься брошенными детьми.

— Она... такая миленькая.

— Еще раз повторяю для непонятливых: это сейчас она такая. А завтра...

Покончив с полами, Галя закрылась в своем кабинете — на ключ, чтобы еще раз спокойно вспомнить сегодняшнее утро...

— Ты правда моя бабушка?

— Хм... Я бы, может, и не призналась, да глазенки-то у тебя — чисто папкины — большие и в длинных ресницах. Ты помнишь отца-то?

— Нет. Мама говорит: он ушел, когда я была совсем маленькой.

— Сначала от нас с отцом ушел, потом от вас ушел. Как тот колобок... А теперь и мама ушла. Как ты думаешь: проживем мы без них?

Она тут же пожалела о своем вопросе: нашла кого спрашивать! — как вдруг услышала неожиданно разумный ответ:

— Ты сейчас пойдешь на работу, бабушка, а меня отведешь в садик. Меня всегда кто-нибудь отводил, если мама утром проснуться не могла. А вечером заберешь. Меня всегда кто-нибудь...

В дверь постучали. Клеопатра Петровна открыла — это была опять Лилечка.

— Думаю: не ревет ли, сидит? Молодец, что не реवेशь.

Старшая медсестра привычно оглядела Галин кабинет: все, все здесь было в полном порядке, все сияло чистотой, и потому без опасений можно было присесть на главный объект Галиного кабинета — краешек кушетки; хозяйка же кабинета, не чинясь, сидела на крышке унитаза — нет, не плача и не рыдая, но очень невесело опустив голову со стрижкой под Мирей Матье.

— Вот думаю: чего они у тебя такие? — начала Лилечка, со строгой начальнической ноты перейдя на душевную, соседскую. — Ладно, Витька — молодая дурь покоя не дает. Но этот-то старый хрыч... Ему чего не хватало?

— Говорил: скучная ты женщина, Галюха. Не умеешь понять радости жизни.

— Ага. А он понимает. Видела его как-то с новой пассией: оба идут поддатые, только что песни не поют...

В дверь опять постучали, а следом в проеме показалась белокурая головка Нелли:

— Лилия Андреевна, Лена звонила, у нее ребенок заболел. Кто будет перевязку делать?

Вот и поговори по-соседски...

— Да кто — я и буду.

И уже по-командирски:

— Галина Петровна, а ты давай в пятницу, там тяжелую привезли, помоги определиться...

Закрывая свой кабинет, его хозяйка поймала себя на неожиданной мысли: а признайся-ка ты себе, Галина Петровна, не потому ли ты и кинулась наводить красоту, что внутри себя была согласна с мужем: скучная она, скучная. Одна работа всегда была на уме, и совершенно было наплевать, как она выглядит. И вон как резко ее качнуло: стригите меня под Мирей Матье, дайте мне серьги до плеч... Потрогала свои стекляшки: снять? Выбросить, спустить в этот вот унитаз?

Господи... о чем она думает, если сегодня... вечером... хорошо, что макароны остались...

Разогрели макароны, посыпали тертым сыром. А еще на столе были апельсины и мармелад — Галина Петровна успела забежать в магазин. Детям нужны витамины и сладости...

— Ешь, Лизавета, ешь.

— И уговаривать не надо. У меня макароны — любимая еда.

— Да ты что? Вот хорошо-то. Наварил кастрюлю, и грей — то с сыром, то с творогом. А то, глядишь, и мясом разживемся. Мясо-то любишь?

— Котлетки. Туда накрутить хлебца побольше да картошечки — и котлеток мно-о-го будет.

Галина Петровна застыла с вилкой в руках. Вздохнула:

— Умница ты моя, разумница. Где только таких деток берут.

— У мамы с папой... А тебя как зовут, бабушка?

— О, у меня много имен. Основное — Галя, Галина Петровна. Запасное — Клеопатра. Клеопатра — это царица такая была.

— Ты тоже на царицу похожа.

— Чем же, интересно?

— А сережки — как у царицы.

— Да я их выбрасывать собралась.

— Не надо, бабушка, не надо!

— А что же надо?

Внучка посмотрела на нее Витькиными глазами и выпалила:

— Надо быть красивой — вот!

И опять Галя застыла над тарелкой. Да что же это за ребенок такой?! Лилечка — серьезная женщина, плохого совета не даст. И если слушать ее — не надо ей пускать эту девочку в свое сердце, ему и так есть от чего болеть. А если слушать внучку...

— Бабушка, а Новый год скоро?

— Ну, не так чтобы скоро, но через месячишко...

— А мы с тобой елку наряжать будем?

— Гм... Наверно... у нас еще есть время на раздумье.

Тут положила вилку и Лизавета. Положила, устремила глаза в потолок и проговорила:

— А я раздумываю уже сейчас. Нарядим мы с тобой елку, нажарим котлет с макаронами, сядем за стол. И тут — звонок. Кто там? А там — мама с папой пришли! И еще бабушка с ними! У нас ведь есть еще и бабушка?

Слезы уже бежали по Галиному лицу, но она их не вытирала: чего уж там было таиться, от кого?!

— Мое ты дитя... Никому тебя не отдам. Никому!

## ЧАСИКИ

...Когда-нибудь ты будешь большой и совсем другой. Не веришь? Я тоже когда-то не верила. И думала так: буду всегда такая, как сейчас. Как в детстве. Нет, внешне я, конечно, стану меняться, а как же иначе, но вот внутренне... Меняться внутри себя я совсем-совсем не собираюсь. Вот сейчас, невзрослая, я прекрасно знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Знаю, как надо — правильно! — поступать в той или иной ситуации. И буду знать это всегда! И без колебаний все и всегда делать хорошо! Но... пришло время, когда я с удивлением заметила, что границы между «хорошо» и «плохо» размылись, а то и вовсе превратились в свою противоположность. Получалось, что я... изменилась? Изменилась — должна была констатировать факт. Изменилась настолько, что порой вынуждена спрашивать себя: та наивная, доверчивая, все наперед знающая девочка — это была я?!

Так же будет и с тобой. Потому что так бывает со всеми. И все-таки, думаю, не все исчезает бесследно, что-то из наивного, доверчивого, все наперед знающего детства человеку удастся в себе сохранить. Можно, я помогу тебе ПОМНИТЬ?..

— Бабушка, я хотел бы быть вечным ребенком.

Это что-то новое. До сих пор я слышала фразы: «Вот когда я был маленьким...» — «А сейчас ты большой?» — «Конечно». Это звучало и в пять, и в шесть лет. И вот тебе семь, и... что я слышу?

— Но зачем? — донельзя удивленная, спрашиваю я.

— Чтобы всегда играть с Соней.

Ох уж эта Соня... Ты, житель шумного, богатого на всяческого рода фейерверки и развлечения мегаполиса, приезжаешь в гости к нам, в маленький провинциальный город, и первая твоя фраза: «Если бы ты знала, как я соскучился по Соне!»

Любовь в такие годы, пишут психологи, явление не такое уж редкое. Я наблюдаю твою любовь. Пять, шесть, семь... сейчас тебе уже девять лет, закончены два класса. Ты уже умеешь читать и писать и — дитя 21-го века — не любишь ни того, ни другого. Компьютер, айфон — твои любимые игрушки, твое любимое занятие и времяпрепровождение. Про школу ты уже успел сочинить крамольные стихи:

По камешку, по камешку  
Мы школу разберем...

А я школу в свое время любила. Но... тогда ведь и школа была другая. Учебные программы не перегружали наши умы и позволяли самостоятельно и неспешно видеть, обдумывать, постигать окружающий мир. Теперь, в вашей школе, есть даже такой предмет: окружающий мир, а мы

этот мир изучали без всяких программ. Может быть, это было не совсем полноценное постижение (что-то мы, руководимые не научными разработками, а только собственным внутренним чутьем, упускали), но зато уж что постигали — то было наше. Нашими были зима с санками и ныряниями в сугробы, лето с речкой, точнее, с озером, но мы всегда говорили: пошли на речку! У берега — тина едва не до колен, но потом дно все ровнее, все тверже, и вот ты уже отталкиваешься от него ногами и плывешь, плывешь... вода — счастье, воздух — счастье, синее просторное небо — тоже счастье! А весна — это уже всем счастьям счастье! Весной, самой-самой ранней, мы шли в овраг. Он был далеко за селом, но мы все равно шли, нас тянуло в него неудержимо, потому что именно там, в овраге, на солнечной его стороне появлялись весной первые проталины, на которых земля освобождалась от уже надоевшего снега и прогревалась настолько, что тут можно было уже и сесть, и лечь, не опасаясь простуды. Про простуду мы, конечно, не думали, а просто хотели скорее, как можно скорее соединиться с теплой землей, от которой шли запахи недавнего снега и прорастающей травы, и это сочетание (вон он, снег — на дне оврага еще целехонек, а здесь, на солнцепеке, уже проклюнулась травка), это сочетание было таким радостным и бодрящим! Мы брали с собой еду — посыпанный солью хлеб и лук. Ах, какой вкусной была эта нехитрая еда! И как хорошо нам тогда говорилось, молчалось, мечталось...

Ты тоже любишь овраги! И не только летние, но и зимние!

Разве забыть мне тот случай? Сколько тебе было? Наверное, шесть — в школу ты еще не ходил. Но, может быть, все значительное, и даже, может быть, самое главное происходит с нами как раз до школы. До обеда вы играли дома, а потом резко засобирались на улицу. Ты, Соня, Юля. Соня и Юля были соперницами, соперничая, конечно же, из-за тебя. «Если ты пойдешь к Соне — я не буду с тобой дружить...» Но зима, желание покататься на ледянках вас объединило. «Бабушка, я игрушки потом уберу!» Конечно, потом. Мне ужасно хочется остаться, наконец, одной, спокойно почитать, спокойно приготовить ужин. Но вот проходит час, другой... Дело идет к вечеру. Начинаю волноваться. Пожалуй, пора отправляться на поиски. Иду сначала в «свой», ближний овраг. Никого! Иду в другой, чуть дальше. И здесь никого! А уже темнеет, и мороз нехилый — за двадцать. Наступает момент, когда мной овладевает паника, страх. «Давай на машине, по всем ближним улицам проедемся», — говорю деду. Но и на заснеженных, морозных улицах — нигде, никого... Боже, что делать?!

И вот когда мое отчаяние достигает пика, вижу: по улице плетутся, донельзя усталые, два маленьких человечка — ты и Юля (Соня, значит, уже дома, а Юля живет в нашем конце). Слава Богу, нашлись! Трогаю твои руки — они в обледенелых варежках. Трогаю ноги — они в обледенелых штанишках. Скорее, скорей домой! Скорее — ноги в таз, в воду погорячее! Делаю все, что нужно, и причитаю: «Ну как ты не понимаешь — я уже с ума схожу! Пропали, нигде нет...» — «Мы, бабушка, в дальний овраг ходили». — «Ну, зачем в дальний, если и в своем можно хорошо покататься? Посмотри, какие ноги холодные, не дай Бог, заболеешь...» Причитаю и думаю: вот ведь ничего, ничего не чувствует и не понимает... что ему бабушкины переживания... И вдруг:

— Бедная бабушка... Ты не убирай игрушки, я сам уберу. Завтра. Как поем блинов...

Мог ли ты сказать что-то еще более обезоруживающее, чем это? Мог.

Но сказано именно так. Ах, если бы ты сохранил эту способность — сопереживать, жалеть — на всю жизнь. Сохрани, пожалуйста! Знаешь, зачем? Чтобы всякое сердце отзывалось тебе тем же...

А что было наутро! Про игрушки — кто из нас их убирал, я уже не помню. Но другое!..

— Бабушка, а ведь я вчера поссорился с Соней.

— Как?!

— У нее мама строгая. Соня покаталась в овраге и сказала: все, надо идти домой. А Юле разрешают гулять, сколько она хочет. И мне тоже так хотелось еще покататься с горки! И я сказал Соне: ну и иди. Трусиха. И Соня тогда сказала: ты мне больше не друг.

— Ну, милый мой, как же ты мог... Надо было как-то мягче сказать. А то — «трусиха». Может, она ушла не потому, что боится мамы. Просто не захотела ее расстраивать. Тебе так не кажется?

Молчит. Думает. Мы сидим за столом на кухне, пишем буквы (ты уже до школы умел читать и писать). Чувствую, что на душе у тебя беспокойно. И вот:

— Бабушка, я напишу Соне записку.

— А может, проще позвонить?

— Нет, я сначала напишу. А позвоним потом.

Звоним после обеда:

— Сонь, тут вот хотят с тобой поговорить. Я передаю трубку...

Ты берешь открытку и читаешь:

— Со-ня, про-сти ме-ня.

Я удивляюсь шепотом:

— Читать-то зачем? Ты скажи словами.

И тогда тем своим ласковым, душевным голосом (как вчера — «бедная бабушка...»), ты говоришь:

— Соня, я был не прав. Я тебя люблю!

Я оцепенело сижу на диване, сраженная твоей искренностью. Господи, помогай этому ребенку всегда, во всякой ситуации, и сейчас, и потом...

Блины же — твоя любимая еда. Жарь хоть каждый день. Что я с радостью и делаю: не ломай голову, что на завтрак — блины! И — поприжаристей. Или бутерброды. Кашу — ни в коем случае! В садике надоела.

Дети помирились, снова играют вместе. Соня на год старше моего внука, но ей с ним интересно. Мне и самой интересно с ним. Словарный запас внука впечатляет, познания в самых разных, порой неожиданных областях — тоже; он знает, например, кто такой был Никола Тесла и в чем заключалась его научная и практическая деятельность; однажды я стала рассказывать ему о фашизме и концлагерях, он перебил меня вопросом: «Ты какую войну имеешь в виду — первую или вторую мировую?» Про физическое устройство мира — всякие там молекулы, атомы, электроны и протоны — элементарно может прочитать минилекцию. Про бабочек и жуков — тоже. Боже, сколько их было переловлено и посажено в то дошкольное лето в стеклянные банки — для наблюдений! А сколько времени мы провели у муравьиных куч, наблюдая жизнь неутомимых насекомых. Ты меня просвещал: «Тебе известно, что они обладают коллективным разумом? У каждого человека разум свой, а у них один на всех». — «Да откуда ты это знаешь?» — «Странно, что это не знаешь ты»... А еще у вас с Соней был период увлечения составлением различных смесей («нам нужно растительное масло, уксус, крахмал. А если крахмал просто в воду — смотри, какой



твердый он становится»...) Словом, быть интересным для девочки на год старше внуку не составляло труда. Но вот в чем заключался осложняющий жизнь момент: Соня — красавица. Большие глаза, пухленькие и румяные, как у девочек на дореволюционных открытках, щечки, аккуратный носик, а самое главное — вся она излучает какие-то фантастические, притягивающие к себе лучи. Несмотря на свой юный возраст, она, видимо, это знает, и, можно не сомневаться, получает знаки внимания не только от моего внука, потому что однажды вдруг заявляет:

— Как вы мне все надоели! Завтра я начинаю новую жизнь. Заведу жизненный дневник. И мы больше не будем с тобой встречаться. Ну, примерно лет двадцать.

Соня, конечно, чистейшей прелести чистейший образец, но... это не дает ей права обижать моего внука! А ты пришел домой вконец расстроенный:

— Бабушка, и что мне теперь делать?

Я не нахожу ничего лучшего, как призвать на помощь классика. Поучительным тоном цитирую его знаменитые строки: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей...» Понимаю, как смешно преподносить их в качестве рецепта от любви маленькому мальчику, и, вконец запутавшись, выхожу из положения так:

— В общем, тебе просто-напросто не надо излишне волноваться и переживать. Надо выдержать характер. Увидишь — завтра, а вовсе не через двадцать лет, вы опять будете вместе.

— Ты в этом уверена?

— Давайждемся завтра.

На другой день Соня — красота все-таки не затмевает в ней разума и чувства дружбы — пришла к нам сама: «Ну, во что будем сегодня играть?..»

— Бабушка, я сейчас что-то тебе скажу... Только ты никому не говори, даже дедушке. Когда мама плачет, я плачу вместе с ней. Так все дети поступают?

Почему я все-таки решаюсь открыть эту твою великую тайну? Потому что это признание надо подарить человечеству. Давай подарим? Давай напомним ему, что вовсе не доллары — главная ценность мира, что вовсе не ими надо дорожить больше всего на свете...

А этот наш диалог...

На моей прикроватной тумбочке ты увидел маленькую, красиво изданную книжку — почти игрушку. И, может быть, как раз поэтому правил к ней интерес.

— Бабушка, это что за книжечка такая?

— Высказывания оптинских старцев.

— Ну, прочитай что-нибудь.

Открываю страничку наугад. «Не осуждайте никого, всех прощайте, считайте себя худшими всех на свете и спасены будете».

Ожидала всего, но только не этого:

— Я таким себя и считаю. Я некрасивый и хуже всех.

Придя в себя от замешательства, бросаю тебе на помощь:

— Это ты некрасивый? Ты очень красивый! И... почему это хуже всех?

— Со мной всегда что-нибудь происходит... что-нибудь непонятное...

Ну, да, происходит. Это со всеми происходит. Но по твоему тону чувствуется, что ты имеешь в виду событие не совсем красивое. И тебе хочется облегчить душу.

— Хочешь — расскажи.

...Однажды твоя вторая бабушка пришла за тобой, чтобы забрать домой из садика, и нашла тебя стоящим в углу. Воспитатели с жаром принялись рассказывать: увидел подбитую птицу, да как пнет ее ногой... и раз, и два... и наблюдает, как она поведет себя... разве так можно?.. Конечно, нельзя. И бабушка справедливо тут же учинила суд и расправу: хорошенько отчитала, а чтобы урок усвоился еще лучше — нахлестала по щекам.

Детская жестокость — вещь существующая и специалистами по детской психологии доказанная. Я не думала, что мой внук окажется еще одним примером в этой цепочке доказательств, но... что произошло, то произошло. Не берусь судить судьей моего внука, а вот сказать слово в твою защиту хочу. Так раскаяться, как это сделал ты — не всякий взрослый (чтобы не сказать — редкий взрослый) сумеет сделать. Это говорит о не соответствующей возрасту зрелости твоей души. Твое раскаяние перевесило твою вину.

Как хорошо, что нам попались на глаза высказывания оптинских старцев...

...И вот тебе уже девять, и тебе совсем неинтересно гулять с бабушкой. С кем интересно? Конечно же, с Соней! И вдвоем вам совсем не скучно: вы уже не ловите бабочек и жуков и не составляете адских смесей, зато лихо катаетесь на велосипедах, снимаете фильмы-ужастики (сами операторы, сами режиссеры, сами авторы текстов), сами... о, сколько всего, самого разного, происходит в течение дня! Меня радует, что, несмотря на обилие увлечений и занятий, вы пока еще помните, что на свете есть бабушки, которые вас любят. Вы приносите им с прогулки букетики цветов: Соня — своей, ты — мне.

Разбираю один из них: душица, зверобой — это для чая. Ромашка — поставим-ка ее в стакан с водой. А вот — часики...

— Эти розовенькие цветы — часики. Как же я их люблю!

— А почему они так называются?

— Не знаю. Конечно, у них наверняка есть какое-нибудь официальное название, но мы в детстве называли их часиками. Смотри: маленькие, кругленькие, и лепестки — как стрелки у часов — расходятся в разные стороны.

— Так это почти у всех цветов так. Почему эти любимые?

— Не знаю... Может, потому, что детство напоминают. Да и вообще... они такие милые, трогательные.

Вдруг в голову приходит такой аргумент:

— Девочек на свете тоже ведь много. И все друг на друга чем-то похожи. Но Соня для тебя — лучше всех. Как ты думаешь, почему?

Молчишь. Потом — задумчиво:

— Я тоже не знаю.

Теперь мы молчим вдвоем. И думаем — верю я — о чем-то важном, постигая, может быть, одну из главных тайн мироздания. Это непременно забудется (забываются даже главные тайны; жизнь идет дальше, и столько всего преподносит для осмысления и запоминания). Как же сделать, чтобы потом все вспомнилось — в самый нужный момент?

Стоп! Придумала. Тебе всего-то и надо будет найти этот цветок — часики. Ты посмотришь на их лепестки-стрелочки — и в твоей памяти сразу вспыхнет все, что так опрометчиво, так ненужно забылось. Всплывет, и поможет ответить на какой-то очень важный на новом этапе жизни вопрос.

Не забудь только одно: эти цветы называются — часики...